

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ



ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

Постоялый двор
Иван Сергеевич Тургенев

Аннотация
Иван Сергеевич Тургенев. Постоялый двор

Аннотация

Постоялый двор на Б...й дороге приносит его хозяину, Науму Иванову, хороший доход. Но перешёл этот двор в руки Наума недобрым путём.

Иван Сергеевич Тургенев
Постоялый двор

На большой Б…й дороге, в одинаковом почти расстоянии от двух уездных городов, чрез которые она проходит, еще недавно стоял обширный постоялый двор, очень хорошо известный троечным извозчикам, обозным мужикам, купеческим приказчикам, мещанам-торговцам и вообще всем многочисленным и разнородным проезжим, которые во всякое время года накатывают наши дороги. Бывало, все заворачивали на тот двор; разве только какая-нибудь помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей, торжественно проплывала мимо, что не мешало, однако, ни кучеру, ни лакею на запятках с каким-то особенным чувством и вниманием посмотреть на слишком им знакомое крылечко; или какой-нибудь голяк в дрянной тележке и с тремя пятаками в мошне за пазухой, поравнявшись с богатым двором, понукал свою усталую лошаденку, поспешая на ночлег в лежавшие под большаком выселки, к мужичку-хозяину, у которого, кроме сена и хлеба, не найдешь ничего, да зато лишней копейки не заплатишь. Кроме своего выгодного местоположения, постоялый двор, о котором мы начали речь, брал многим: отличной водой в двух глубоких колодцах со скрипучими колесами и железными бадьями на цепях;

просторным двором со сплошными тесовыми навесами на толстых столбах; обильным запасом хорошего овса в подвале; теплой избой с огромнейшей русской печью, к которой наподобие богатырских плечей прилегали длинные борова, и наконец двумя довольно чистыми комнатками, с красно-лиловыми, снизу несколько оборванными бумажками на стенах, деревянным крашеным диваном, такими же стульями и двумя горшками гераниума на окнах, которые, впрочем, никогда не отпирались и тускнели многолетней пылью. Другие еще удобства представлял этот постоялый двор: кузница была от него близко, тут же почти находилась мельница; наконец, и поесть в нем можно было хорошо по милости толстой и румяной бабы стряпухи, которая кушанья варила вкусно и жирно и не скупилась на припасы; до ближайшего кабака считалось всего с полверсты; хозяин держал табак нюхательный, хотя и смешанный с золой, однако чрезвычайно забористый и приятно разъедающий нос, — словом, много было причин, почему в том дворе не переводились всякого рода постояльцы. Полюбился он проезжим — вот главное; без этого, известно, никакое дело в ход не пойдет; а полюбился он более потому, как толковали в околотке, что сам

хозяин был очень счастлив и во всех своих предприятиях удачлив, хоть он и мало заслуживал свое счастье, да, видно, кому повезет — так уж повезет.

Хозяин этот был мещанин, звали его Наумом Ивановым. Роста он был среднего, толст, сутуловат и плечист; голову имел большую, круглую, волосы волнистые и уже седые, хотя ему на вид не было более сорока лет; лицо полное и свежее, низкий, но белый и ровный лоб и маленькие, светлые, голубые глаза, которыми он очень странно глядел: исподлобья и в то же время нагло, что довольно редко встречается. Голову он всегда держал понуро и с трудом ее поворачивал, может быть, оттого, что шея у него была очень коротка; ходил бегло и не взмахивал, а разводил на ходу сжатыми руками. Когда он улыбался, — а улыбался он часто, но без смеха, словно про себя, — его крупные губы неприятно раздвигались и выказывали ряд сплошных и блестящих зубов. Говорил он отрывисто и с каким-то угрюмым звуком в голосе. Бороду он брил, но не ходил по-немецки. Одежда его состояла из длинного, весьма поношенного кафтана, широких шаровар и башмаков на босу ногу. Он часто отлучался из дому по своим делам, а у него их было много — он

барышничал лошадьми, нанимал землю, держал огороды, скупал сады и вообще занимался разными торговыми оборотами, — но отлучки его никогда долго не продолжались; как коршун, с которым он, особенно по выражению глаз своих, имел много сходного, возвращался он в свое гнездо. Он умел держать это гнездо в порядке: всюду поспевал, все выслушивал и приказывал, выдавал, отпускал и рассчитывался сам, и никому не спускал ни копейки, однако и лишнего не брал.

Постояльцы с ним не заговаривали, да и он сам не любил тратить попусту слова. «Мне ваши деньги нужны, а вам моя харчь, — толковал он, словно отрывая каждое слово, — не детей нам с вами крестить; проезжий поел, покормил, не засиживайся. А устал, так спи, не болтай». Работников держал он рослых и здоровых, но смирных и повадливых; они его очень боялись. Он в рот не брал хмельного, а им выдавал в великие праздники по гривеннику на водку; в другие дни они не смели пить. Люди, подобные Науму, скоро богатеют… но до блестящего положения, в котором он находился — а его считали в сорока или пятидесяти тысячах, — Наум Иванов дошел не прямым путем…

Лет за двадцать до того времени, к которому мы

отнесли начало нашего рассказа, уже существовал на том же месте большой дороги постоялый двор. Правда, на нем не было темно-красной тесовой крыши, которая придавала дому Наума Иванова вид дворянской усадьбы; и строением был он победней, и на дворе навесы имел соломенные, а вместо бревенчатых стен — плетеные; не отличался он также трехугольным греческим фронтоном на точеных столбиках; но все же он был постоялый двор хоть куда — поместительный, прочный, теплый — и проезжие охотно его посещали. Хозяин его в то время был не Наум Иванов, а некто Аким Семенов, крестьянин соседней помещицы, Лизаветы Прохоровны Кунце — штаб-офицерши. Этот Аким был смышленый и тороватый мужик, который в молодых еще летах, отправившись в извоз с двумя плохими лошадками, воротился через год с тремя порядочными, да с тех пор почти всю жизнь пространствовал по большим дорогам, ходил в Казань и Одессу, в Оренбург и в Варшаву, и за границу, в «Липецк»,[1] и ходил уж под конец с двумя тройками крупных и сильных жеребцов, запряженных в две громадные телеги. Надоело ему, что ли, его

[1] Примечания: 1
В Лейпциг. *(Прим. автора.)*

бездомовное, скитальческое житье, захотелось ли ему завестись семейством (в одну из его отлучек умерла у него жена; дети, которые были, тоже померли), только он решился, наконец, бросить свое прежнее ремесло и завести постоялый двор. С позволения своей барыни основался он на большой дороге, купил на ее имя полдесятины земли и построил на ней постоялый двор. Дело пошло на лад. Денег у него на обзаведение было слишком довольно; опытность, приобретенная им в течение долговременных странствований по всем концам России, послужила ему в великую пользу; он знал, чем угодить проезжим, особенно прежней своей братье, троечным извозчикам, из которых со многими он был знаком лично и которыми особенно дорожат содержатели постоялых дворов: так много едят и потребляют эти люди на себя и на своих могучих лошадей. Акимов двор стал известен на сотни верст вокруг… К нему даже охотнее заезжали, чем к сменившему его впоследствии Науму, хотя Аким далеко не мог сравняться с Наумом в уменье хозяйничать. У Акима все было больше на старинную ногу, тепло, но не совсем чисто; и овес у него попадался легкий или подмоченный, и кушанье-то варилось с грехом пополам; у него иногда и такую снедь

подавали на стол, что лучше бы ей совсем в печи оставаться, и не то, чтоб он на харчи скупился, а так — баба недосмотрит. Зато он и с цены готов был сбавить, и в долг, пожалуй, не отказывался поверить, словом — хороший был человек, ласковый хозяин. На разговоры, на угощенье он тоже был податлив; за самоваром иной час так разболтается, что уши развесишь, особенно как станет рассказывать про Питер, про степи черкасские или вот еще про заморскую сторону; ну, и выпить, разумеется, с хорошим человеком любил, только не до безобразия, а больше для общества — так о нем отзывались проезжие. Весьма благоволили к нему купцы и вообще все те люди, которых называют старозаветными, те люди, которые, не подпоясавшись, в дорогу не поедут, и в комнату не войдут, не перекрестившись, и не заговорят с человеком, не поздоровавшись с ним наперед. Уже одна наружность Акима располагала в его пользу: он был роста высокого, несколько худ, но очень строен, даже в зрелых летах; лицо имел длинное, благообразное и правильное, высокий и открытый лоб, нос прямой и тонкий и небольшие губы. Взгляд его карих навыкате глаз так и сиял приветливой кротостью, жидкие и мягкие волосы завивались в кольца около шеи: на макушке

оставалось их немного. Звук Акимова голоса был очень приятен, хотя слаб; в молодости он отлично певал, но продолжительные путешествия на открытом воздухе, зимой, расстроили его грудь. Зато говорил он очень плавно и сладко. Когда он смеялся, у него около глаз располагались лучеобразные морщинки, чрезвычайно милые на вид, — только у добрых людей можно заметить такие морщинки. Движенья Акима были большею частью медленны и не лишены некоторой уверенности и важной учтивости, как у человека бывалого и много видевшего на своем веку.

Точно, всем бы хорош был Аким, или, как его называли в барском доме, куда он хаживал часто и уже непременно по воскресеньям, после обедни — Аким Семенович, — всем бы был он хорош, кабы не водилась за ним одна слабость, которая уже многих людей на земле погубила, а под конец сгубила и его самого, — слабость к женскому полу. Влюбчивость Акима доходила до крайности; сердце его никак не умело противиться женскому взгляду, он таял от него, как первый осенний снег от солнца… и порядочно уже пришлось ему поплатиться за свою излишнюю чувствительность.

В течение первого года после поселенья своего на большой дороге Аким так был занят построй-

кой двора, обзаведением хозяйства и всеми хлопотами, которые неразлучны с каждым новосельем, что ему решительно некогда было думать о женщинах, а если и приходили ему на ум какие-нибудь грешные мысли, так он их тотчас прогонял чтением разных священных книг, к которым питал великое уважение (грамоте он выучился еще с первой своей поездки), пением вполголоса псалмов или другим каким богобоязненным занятием. Притом же ему уже пошел тогда сорок шестой год — а в эти лета всякие страсти заметно утихают и стынут, и для женитьбы прошла пора. Аким сам начинал думать, что с него эта блажь, как он выражался, соскочила… да, видно, своей судьбы не минуешь.

Бывшая Акимова помещица, Лизавета Прохоровна Кунце — штаб-офицерша, оставшаяся вдовой после супруга немецкого происхождения, была сама уроженка города Митавы, где она провела первые годы своего детства и где у ней оставалось очень многочисленное и бедное семейство, о котором она, впрочем, заботилась мало, особенно с тех пор, как один из ее братьев, армейский пехотный офицер, нечаянно заехал к ней в дом и на второй же день до того разбуянился, что чуть не прибил самой хозяйки, назвав

ее притом: «Du, Lumpenmamsell»,[2] между тем как накануне сам величал ее ломаным русским языком: «Сестрица и благодетель». Лизавета Прохоровна почти безвыездно жила в своем хорошеньком, трудами супруга, бывшего архитектора, благоприобретенном именье; сама им управляла, и очень недурно управляла. Лизавета Прохоровна не упускала ни малейшей своей выгоды, из всего извлекала пользу для себя; и в этом, да еще в необыкновенном уменье тратить вместо гроша копейку сказалась ее немецкая природа; во всем другом она очень обрусела. Дворни у ней водилось значительное количество; особенно держала она много девок, которые, впрочем, ели хлеб не даром: с утра до вечера спины их не разгибались над работой. Она любила выезжать в карете, с ливрейными лакеями на запятках; любила, чтоб ей сплетничали и наушничали, и сама отлично сплетничала; любила взыскать человека своей милостью и вдруг поразить его опалой — словом, Лизавета Прохоровна вела себя уж точно как барыня. Акима она жаловала, оброк весьма значительный он платил ей исправно, — милостиво с ним заговаривала и даже,

---

[2] Примечания: 2
«Ты, шлюха» *(нем.)*.

шутя, приглашала его к себе в гости… Но именно в господском доме ожидала Акима беда.

В числе горничных Лизаветы Прохоровны находилась одна девушка лет двадцати, сирота, по имени Дуняша. Она была недурна собой, стройна и ловка; черты ее, хотя неправильные, могли понравиться: свежий цвет кожи, густые белокурые волосы, живые серые глазки, маленький, круглый нос, румяные губы и особенно какое-то развязное, полунасмешливое, полувызывающее выражение лица — все это было довольно мило в своем роде. Притом она, несмотря на свое сиротство, держала себя строго, почти надменно: она происходила от столбовых дворовых; ее покойный отец Арефий лет тридцать был ключником, а дед Степан служил камердинером у одного давно умершего барина, гвардии сержанта и князя. Одевалась она опрятно и щеголяла своими руками, которые действительно были чрезвычайно красивы. Дуняша показывала большое пренебрежение ко всем своим поклонникам, с самоуверенной улыбочкой выслушивала их любезности, и если и отвечала им, то большей частью одними восклицаниями, вроде: да! как же! стану я! вот еще!.. Эти восклицания у ней почти не сходили с языка. Дуняша провела около

трех лет в Москве в ученье, где она приобрела те особенного рода ужимки и замашки, которыми отличаются горничные, побывавшие в столицах. О ней отзывались как о девушке с самолюбием (великая похвала в устах дворовых людей), которая хотя и видала виды, однако себя не уронила. Шила она тоже недурно, но за всем тем Лизавета Прохоровна к ней не слишком благоволила по милости главной горничной Кирилловны, женщины уже немолодой, пронырливой и хитрой. Кирилловна пользовалась большим влиянием на свою госпожу и очень искусно умела устранять соперниц.

В эту-то Дуняшу и влюбись Аким! Да так, как прежде никогда не влюблялся. Он сначала увидал ее в церкви: она только что возвратилась из Москвы… потом встречался с ней несколько раз в барском доме, наконец провел с ней целый вечер у приказчика, куда его пригласили на чай вместе с другими почетными людьми. Дворовые им не брезгали, хоть он и не принадлежал к их сословию и носил бороду; но он был человек образованный, грамотный, а главное с деньгами; притом и одевался он не по-мужицки, носил длинный кафтан из черного сукна, выростковые сапоги и платочек на шее. Правда, иные дворовые

и толковали промеж себя, что, дескать, все-таки видно, что он не наш, но в глаза ему чуть не льстили. В тот вечер у приказчика Дуняша окончательно покорила влюбчивое сердце Акима, хотя уже решительно не отвечала ни одного слова на все его заискивающие речи и лишь изредка сбоку посматривала на него, как бы удивляясь, зачем этот мужик тут. Все это только больше распаляло Акима. Он ушел к себе домой, думал, думал и решился добиться ее руки… Так-то она его к себе «присушила»! Но как описать гнев и негодование Дуняши, когда, дней через пять, Кирилловна, ласково зазвав ее к себе в комнату, объявила ей, что Аким (а видно, он умел, как за дело взяться), что этот бородач и мужик Аким, с которым и сидеть-то рядом она почитала обидой, за нее сватается!

Дуняша сперва вспыхнула вся, потом принужденно захохотала, потом заплакала, но Кирилловна так искусно повела атаку, так ясно дала ей почувствовать собственное ее положение в доме, так ловко намекнула на приличный вид, богатство и слепую преданность Акима, наконец так значительно упомянула о желании самой барыни, что Дуняша вышла из комнаты уже с раздумьем на лице и, встретившись с Акимом,

только пристально посмотрела ему в глаза, но не отвернулась. Несказанно щедрые подарки этого влюбленного человека рассеяли ее последние недоуменья… Лизавета Прохоровна, которой Аким на радости поднес сотню персиков на большом серебряном блюде, согласилась на его брак с Дуняшей, и этот брак состоялся. Аким не пожалел издержек — и невеста, которая накануне сидела на девичнике как убитая, а в самое утро свадьбы все плакала, пока ее Кирилловна наряжала к венцу, скоро утешилась… Ей барыня дала надеть в церковь свою шаль, а Аким в тот же день подарил ей такую же, чуть ли не лучше.

Итак, Аким женился; перевез свою молодую к себе во двор… Начали они жить. Дуняша оказалась плохою хозяйкой, плохою подпорой мужу. Она ни во что не входила, грустила, скучала, разве какой-нибудь проезжий офицер обращал на нее внимание и любезничал с ней, сидя за широким самоваром; часто отлучалась, то в город за покупками, то в барский двор, до которого от постоялого двора считалось версты четыре. В барском доме она отдыхала; там ее окружали свои; девушки завидовали ее нарядам; Кирилловна потчевала ее чаем; сама Лизавета Прохоровна с ней разговаривала… Но и эти посещения не

обходились без горьких ощущений для Дуняши… Ей, например, как дворничихе, уже не приходилось носить шляпки, и она принуждена была повязывать свою голову платком… как купчиха, говорила ей лукавая Кирилловна, как какая-нибудь мещанка, думала Дуняша про себя.

Не раз пришли Акиму на память слова единственного его родственника, старика дяди, мужика, заматерелого, бессемейного бобыля:

— Ну, брат Акимушка, — сказал он ему, встретившись с ним на улице, — слышал я, ты сватаешься?..

— Ну да; а что?

— Эх, Аким, Аким! Ты нам, мужикам, не брат теперь, что и говорить, — да и она тебе не сестра.

— Да чем же она мне не сестра?

— А хоть бы вот чем, — возразил тот и указал Акиму на его бороду, которую он в угодность своей невесте начал подстригать — сбрить-то ее совсем он не согласился… Аким потупился; а старик отвернулся, запахнул полы своего разорванного на плечах тулупа и пошел прочь, встряхивая головой.

Да, не раз задумывался, кряхтел и вздыхал Аким… Но любовь его к хорошенькой жене не уменьшалась; он гордился ею — особенно, когда

сравнивал ее, не говорим уже с другими бабами или с своей прежней женой, на которой его женили шестнадцати лет, — но с другими дворовыми девушками: «Вот, мол, мы какую пташку заполевали!..» Малейшая ее ласка доставляла ему великое удовольствие… Авось, думал он, попривыкнет, обживется… Притом она вела себя очень хорошо, и никто не мог сказать про нее худого слова.

Так прошло несколько лет. Дуняша действительно кончила тем, что привыкла к своему житью. Аким чем больше старел, тем больше к ней привязывался и доверял ей; товарки ее, которые вышли замуж не за мужиков, терпели нужду кровную, либо бедствовали, либо попали в недобрые руки… А Аким богател да богател. Все ему удавалось — счастье ему везло; одно только его сокрушало: детей ему бог не давал. Дуняше уже перешло за двадцать пять лет; уже все ее стали величать Авдотьей Арефьевной. Настоящей хозяйкой она все-таки не сделалась — но дом свой полюбила, распоряжалась припасами, присматривала за работницей… Правда, она все это делала кое-как, не наблюдала, как бы следовало, за чистотой и порядком; зато в главной комнате постоялого двора, рядом с портретом

Акима, висел ее портрет, писанный масляными красками и заказанный ею самою доморощенному живописцу, сыну приходского дьякона. Она была представлена в белом платье, желтой шали, с шестью нитками крупного жемчуга на шее, длинными серьгами в ушах и кольцами на каждом пальце. Узнать ее было можно — хотя живописец изобразил ее чересчур дебелой и румяной и глаза ей написал, вместо серых, черные и даже несколько косые… Аким ему вовсе не удался: он вышел у него как-то темно — à la Rembrandt, — так что иной проезжий подойдет, бывало, посмотрит и только помычит немного. Одеваться Авдотья стала довольно небрежно; накинет большой платок на плечи — а платье под ним как-нибудь сидит: лень ее обуяла, та вздыхающая, вялая, сонливая лень, к которой слишком склонен русский человек, особенно когда существование его обеспечено…

Со всем тем дела Акима и жены его шли очень хорошо — они жили ладно и слыли за примерных супругов. Но как белка, которая чистит себе нос в то самое мгновенье, когда стрелок в нее целится, человек не предчувствует своего несчастья — и вдруг подламывается, как на льду…

В один осенний вечер на постоялом дворе у

Акима остановился купец с красным товаром. Разными окольными дорогами пробирался он с двумя нагруженными кибитками из Москвы в Харьков; это был один из тех разносчиков, которых помещики, и в особенности помещичьи жены и дочери, ожидают иногда с таким великим нетерпением. С этим разносчиком, человеком уже пожилым, ехало двое товарищей, или, говоря правильнее, двое работников — один бледный, худой и горбатый, другой молодой, видный, красивый малый лет двадцати. Они спросили себе поужинать, потом сели за чай; разносчик попросил хозяев выкушать с ними по чашке — хозяева не отказались. Между двумя стариками (Акиму стукнуло пятьдесят шесть лет) скоро завязался разговор; разносчик расспрашивал о соседних помещиках — а никто лучше Акима не мог сообщить ему все нужные сведения на их счет; горбатый работник беспрестанно ходил смотреть телеги и наконец убрался спать; Авдотье пришлось беседовать с другим работником… Она сидела подле него и говорила мало, больше слушала, что тот ей рассказывал; но, видно, речи его ей нравились: ее лицо оживилось, краска заиграла на щеках, и смеялась она довольно часто и охотно. Молодой работник сидел почти

не шевелясь и наклонив к столу свою кудрявую голову; говорил тихо, не возвышая голоса и не торопясь; зато глаза его, небольшие, но дерзко-светлые и голубые, так и впились в Авдотью; она сперва отворачивалась от них, потом сама стала глядеть ему в лицо. Лицо этого молодого парня было свежо и гладко, как крымское яблоко; он часто ухмылялся и поигрывал белыми пальцами по подбородку, уже покрытому редким и темным пухом. Выражался он по-купечески, но очень свободно и с какой-то небрежной самоуверенностью — и все смотрел на нее тем же пристальным и наглым взглядом… Вдруг он пододвинулся к ней немного поближе и, нимало не изменившись в лице, сказал ей:

— Авдотья Арефьевна, лучше вас на свете никого нет; я, кажется, помереть готов для вас.

Авдотья громко засмеялась.

— Чему ты? — спросил ее Аким.

— Да вот — они такое все смешное рассказывают, — проговорила она без особенного, впрочем, смущения.

Старый разносчик осклабился.

— Хе-хе, да-с; у меня Наум такой уж балагур-с. Но вы его не слушайте-с.

— Да! как же! стану я их слушать, — возразила

она и покачала головой.

— Хе-хе, конечно-с, — заметил старик. — Ну, однако, — прибавил он нараспев, — прощенья просим-с, много довольны-с, а пора и на боковую-с… — И он встал.

— Много довольны-с и мы-с, — промолвил Аким и тоже встал, — за угощенье то есть; впрочем, спокойной ночи желаем-с. Авдотьюшка, вставай.

Авдотья поднялась, словно нехотя, за ней поднялся и Наум… и все разошлись.

Хозяева отправились в отдельную каморку, служившую им вместо спальни. Аким захрапел тотчас. Авдотья долго не могла заснуть… Сперва она лежала тихо, оборотясь лицом к стене, потом начала метаться на горячем пуховике, то сбрасывала, то натягивала одеяло… потом задремала тонкой дремотой. Вдруг раздался со двора громкий мужской голос: он пел какую-то протяжную, но не заунывную песню, слов которой нельзя было разобрать. Авдотья раскрыла глаза, облокотилась и стала слушать… Песня все продолжалась… Звонко переливалась она в осеннем воздухе.

Аким поднял голову.

— Кто это поет? — спросил он.

— Не знаю, — отвечала она.

— Хорошо поет, — прибавил он, помолчав немного. — Хорошо. Экой голосина сильный. Вот и я в свое время певал, — продолжал он, — и хорошо певал, да голос испортился. А этот хорош. Знать, молодец тот поет, Наумом, что ли, его зовут. — И он повернулся на другой бок, вздохнул и заснул опять.

Долго еще не умолкал голос… Авдотья все слушала да слушала; наконец, он вдруг словно оборвался, еще раз вскрикнул лихо и медленно замер. Авдотья перекрестилась, положила голову на подушку… Прошло полчаса… Она приподнялась и стала тихонько спускаться с постели…

— Куда ты, жена? — спросил ее сквозь сон Аким.

Она остановилась.

— Лампадку поправить, — проговорила она, — не спится что-то…

— А ты помолися, — пролепетал Аким, засыпая.

Авдотья подошла к лампадке, стала поправлять ее и нечаянно погасила; вернулась и легла. Все утихло.

На другое утро, рано, купец отправился в путь с своими товарищами. Авдотья спала. Аким проводил их с полверсты: ему надобно было зайти на

мельницу. Вернувшись домой, он застал уже свою жену одетую и не одну: с ней был вчерашний молодой парень, Наум. Они стояли подле стола у окна и разговаривали. Увидав Акима, Авдотья молча пошла вон из комнаты, а Наум сказал, что вернулся за хозяйскими рукавицами, которые тот будто позабыл на лавке, и тоже ушел.

Мы теперь же скажем читателям то, о чем они, вероятно, и без нас догадались: Авдотья страстно полюбила Наума. Как это могло случиться так скоро, объяснить трудно; тем более трудно, что до того времени она вела себя безукоризненно, несмотря на множество случаев и покушений изменить супружеской верности. Впоследствии, когда связь ее с Наумом стала гласною, многие в околотке толковали, что он в первый же вечер подсыпал ей в чашку чая приворотного зелья (у нас еще твердо верят в действительность подобного средства) и что это очень легко можно было заметить по Авдотье, которая будто скоро потом начала худеть и скучать.

Как бы то ни было, но только Наума стали довольно часто видать на Акимовом дворе. Сперва проехал он опять с тем же купцом, а месяца через три появился уже один, с собственным товаром; потом пронесся слух, что он поселился в одном из

близлежащих уездных городов, и с той поры уже не проходило недели, чтобы не показалась на большой дороге его крепкая крашеная тележка, запряженная парой круглых лошадок, которыми он правил сам. Между Акимом и им не существовало особой дружбы, да и неприязни между ними не замечалось; Аким не обращал на него большого внимания и знал только о нем как о смышленом малом, который бойко пошел в ход. Настоящих чувств Авдотьи он не подозревал и продолжал доверять ей по-прежнему.

Так прошло еще два года.

Вот однажды, в летний день, перед обедом, часу во втором, Лизавета Прохоровна, которая в течение именно этих двух годов как-то вдруг сморщилась и пожелтела, несмотря на всевозможные притирания, румяна и белила, — Лизавета Прохоровна, с собачкой и складным зонтиком, вышла погулять в свой немецкий чистенький садик. Слегка шумя накрахмаленным платьем, шла она маленькими шагами по песчаной дорожке, между двумя рядами вытянутых в струнку георгин, как вдруг ее нагнала старинная наша знакомая Кирилловна и почтительно доложила, что какой-то Б...й купец желает ее видеть по весьма важному делу. Кирилловна по-

прежнему пользовалась господскою милостью (в сущности, *она* управляла имением г-жи Кунце) и с некоторого времени получила позволение носить белый чепец, что придавало еще более резкости тонким чертам ее смуглого лица.

— Купец? — спросила барыня. — Что ему нужно?

— Не знаю-с, что им надоть, — возразила Кирилловна вкрадчивым голосом, — а только, кажется, они желают у вас что-то купить-с.

Лизавета Прохоровна вернулась в гостиную, села на обыкновенное свое место, кресло с куполом, по которому красиво извивался плющ, и велела кликнуть Б…ого купца.

Вошел Наум, поклонился и остановился у двери.

— Я слышала, вы у меня что-то купить хотите? — начала Лизавета Прохоровна и сама про себя подумала: «Какой красивый мужчина этот купец».

— Точно так-с.

— Что же именно?

— Не изволите ли продавать постоялый ваш двор?

— Какой двор?

— Да вот, что на большой дороге, отсюда неда-

лече.

— Да этот двор не мой. Это Акимов двор.

— Как не ваш? На вашей землице сидит-с.

— Положим — земля моя… на мое имя куплена; да двор-то его.

— Так-с. Так вот не изволите ли вы его продать нам-с?

— Как же я его продам?

— Так-с. А мы бы цену хорошую положили-с.

Лизавета Прохоровна помолчала.

— Право, это странно, — начала она опять, — как это вы говорите. А что бы вы дали? — прибавила она. — То есть это я не для себя спрашиваю, а для Акима.

— Да со всем строением-с и угодьями-с, ну, да, конечно, и с землей, какая при том дворе находится, две тысячи рублей бы дали-с.

— Две тысячи рублей! Это мало, — возразила Лизавета Прохоровна.

— Настоящая цена-с.

— Да вы с Акимом говорили?

— Зачем нам с ними говорить-с? Двор ваш, так вот мы с вами и изволим разговаривать-с.

— Да я ж вам объявила… Право, это удивительно, как это вы меня не понимаете!

— Отчего же не понять-с; понимаем-с.

Лизавета Прохоровна посмотрела на Наума, Наум посмотрел на Лизавету Прохоровну.

— Так как же-с, — начал он, — какое будет с вашей стороны, то есть, предложение?

— С моей стороны… — Лизавета Прохоровна зашевелилась на кресле. — Во-первых, я вам говорю, что двух тысяч мало, а во-вторых…

— Сотенку накинем-с, извольте.

Лизавета Прохоровна встала.

— Я вижу, вы совсем не то говорите, я вам уже сказала, что я этот двор не могу продавать и не продам. Не могу… то есть не хочу…

Наум улыбнулся и помолчал.

— Ну, как угодно-с… — промолвил он, слегка пожав плечом, — просим прощенья-с. — И он поклонился и взялся за ручку двери.

Лизавета Прохоровна обернулась к нему.

— Впрочем… — проговорила она с едва заметной запинкой, — вы еще не уезжайте. — Она позвонила: из кабинета явилась Кирилловна.

— Кирилловна, вели напоить господина купца чаем. Я вас еще увижу, — прибавила она, слегка кивнув головой.

Наум еще раз поклонился и вышел вместе с Кирилловной.

Лизавета Прохоровна раза два прошлась по

комнате и опять позвонила. На этот раз вошел казачок. Она приказала ему позвать Кирилловну. Через несколько мгновений вошла Кирилловна, чуть поскрипывая своими новыми козловыми башмаками.

— Слышала ты, — начала Лизавета Прохоровна с принужденным смехом, — что мне купец этот предлагает? Такой, право, чудак!

— Нет-с, не слыхала… Что такое-с? — И Кирилловна слегка прищурила свои черные калмыцкие глазки.

— Он у меня Акимов двор хочет купить.

— Так что же-с?

— Да ведь как же… А что же Аким? Я его Акиму отдала.

— И, помилуйте, барыня, что вы это изволите говорить? Разве этот двор не ваш? Не ваши мы, что ли? И все, что мы имеем, — разве не ваше же, не господское?

— Что ты это говоришь, Кирилловна, помилуй? — Лизавета Прохоровна достала батистовый платок и нервически высморкалась. — Аким этот двор на свои деньги купил.

— На свои деньги? А откуда он эти деньги взял? Не по вашей ли милости? Да он и так столько времени землею пользовался… Ведь все по вашей

же милости. А вы думаете, сударыня, что у него так и не останется больше денег? Да он богаче вас, ей-богу-с.

— Все это так, конечно; но все же это я не могу… Как же это я этот двор продам?

— Отчего же не продать-с? — продолжала Кирилловна. — Благо, покупщик нашелся. Позвольте узнать-с, сколько они вам предлагают?

— Две тысячи рублей с лишком, — тихо проговорила Лизавета Прохоровна.

— Он, сударыня, больше даст, коли две тысячи с первого слова предлагает. А с Акимом вы потом сделаетесь; оброку скинете, что ли. Он еще благодарен будет.

— Конечно, надо будет оброк уменьшить. Но нет, Кирилловна, как же я продам… — И Лизавета Прохоровна заходила взад и вперед по комнате… — Нет, это невозможно, это не годится… нет, пожалуйста, ты мне больше этого не говори… а то я рассержусь…

Но, несмотря на запрещения взволнованной Лизаветы Прохоровны, Кирилловна продолжала говорить и через полчаса возвратилась к Науму, которого оставила в буфете за самоваром.

— Что вы мне скажете-с, моя почтеннейшая? — проговорил Наум, щеголевато опрокинув

допитую чашку на блюдечко.

— А то скажу, — возразила Кирилловна, — что идите к барыне, она вас зовет.

— Слушаю-с, — отвечал Наум, встал и вслед за Кирилловной отправился в гостиную.

Дверь за ними затворилась… Когда наконец та дверь опять открылась и Наум, кланяясь, вышел из нее спиной, дело было уже слажено; Акимов двор принадлежал ему: он приобрел его за две тысячи восемьсот рублей ассигнациями. Купчую положили совершить как можно скорее и до времени не разглашать ее; Лизавета Прохоровна получила сто рублей задатку, да двести рублей пошло Кирилловне на магарыч. «Недорого купил, — думал Наум, взлезая на тележку, — спасибо, случай вышел».

В то самое время, когда в барском доме происходила рассказанная нами сделка, Аким сидел у себя один под окном на лавке и с недовольным видом поглаживал свою бороду… Мы сказали выше, что он не подозревал расположения своей жены к Науму, хотя добрые люди не раз ему намекали, что пора, мол, тебе за ум взяться; конечно, он сам иногда мог заметить, что хозяйка его с некоторого времени как будто норовистей стала, да ведь известно: женский пол ломлив и прихот-

лив. Даже когда ему действительно казалось, что у него в доме неладно что-то, он только рукой махал; не хотелось ему, как говорится, поднимать струшню; добродушие в нем не убавлялось с годами, да и лень брала свое. Но в тот день он был очень не в духе; накануне он совершенно нечаянно подслушал на улице разговор между своей работницей и другой соседней бабой…

Баба спрашивала работницу, отчего она к ней на праздник вечером не зашла: «Я, дескать, тебя поджидала».

— Да я было и пошла, — возразила работница, — да, грешным делом, на хозяйку насовалась… чтоб ей пусто было!

— Насовалась… — повторила баба каким-то растянутым голосом и подперла рукою щеку. — А где же это ты на нее насовалась, мать моя?

— А за конопляниками, за поповскими. Хозяйка-то, знать, к своему-то, к Науму, в конопляники вышла, а мне-то в темноте не видать, от месяца, что ли, господь его знает, прямо так на них и наскочила.

— Наскочила, — опять повторила баба. — Ну, и что же она, мать моя, с ним — стоит?

— Стоит — ничего. Он стоит, и она стоит. Увидала меня, говорит: куда ты это бегаешь?

пошла-кась домой. Я и пошла.

— Пошла. — Баба помолчала. — Ну, прощай, Фетиньюшка, — промолвила она и поплелась своей дорогой.

Разговор этот неприятно подействовал на Акима. Любовь его к Авдотье уже охладела, но все-таки слова работницы ему не понравились. А она сказала правду: действительно, в тот вечер Авдотья выходила к Науму, который ожидал ее в сплошной тени, падавшей на дорогу от недвижного и высокого конопляника. Роса смочила сверху донизу каждый его стебель; сильный до одури запах бил кругом. Месяц только что встал, большой и багровый в черноватом и тусклом тумане. Наум еще издали услыхал торопливые шаги Авдотьи и направился к ней навстречу. Она подошла к нему, вся бледная от бегу; луна светила ей в лицо.

— Ну, что, принесла? — спросил он ее.

— Принести-то принесла, — отвечала она нерешительным голосом, — да что, Наум Иванович…

— Давай, коли принесла, — перебил он ее и протянул руку…

Она достала из-под косынки какой-то сверток. Наум тотчас взял его и положил к себе за пазуху.

— Наум Иваныч, — произнесла Авдотья мед-

ленно и не спуская с него глаз… — Ох, Наум Иваныч, погублю я для тебя свою душеньку…

В это мгновение подошла к ним работница.

Итак, Аким сидел на лавочке и с неудовольствием поглаживал свою бороду. Авдотья то и дело входила в комнату и опять выходила вон. Он только провожал ее глазами. Наконец, она вошла еще раз и, захватив в каморке душегрейку, перешагнула уже порог — он не вытерпел и заговорил, как будто про себя:

— Удивляюсь я, — начал он, — чего это бабы всегда суетятся? Посидеть этак чтобы на месте, этого от них и не требуй. Это не их дело. А вот куда-нибудь сбегать утром ли, вечером ли, это они любят. Да.

Авдотья выслушала мужнину речь до конца, не переменив своего положения; только при слове «вечером» чуть повела головой и словно задумалась.

— Уж ты, Семеныч, — промолвила она наконец с досадой, — известно, как начнешь разговаривать, уж тут…

Она махнула рукой и ушла, хлопнув дверью. Авдотья действительно не слишком высоко ценила Акимово красноречие и, бывало, по вечерам, когда он принимался рассуждать с проезжими

или пускался в рассказы, зевала тихомолком или уходила. Аким посмотрел на запертую дверь… «Как начнешь разговаривать, — повторил он вполголоса… — то-то и есть, что я мало разговаривал с тобой… И кто же? свой же брат, да еще…» И он встал, подумал, да и постучал себе кулаком по затылку…

Несколько дней прошло после этого дня довольно странным образом. Аким все поглядывал на жену свою, как будто собирался ей что-то сказать; и она, с своей стороны, на него подозрительно посматривала; притом они оба принужденно молчали; впрочем, это молчание обыкновенно прерывалось брюзгливым замечанием Акима насчет какого-нибудь упущения в хозяйстве или насчет женщин вообще; Авдотья большею частию не отвечала ему ни слова. Однако при всей добродушной слабости Акима, между им и Авдотьей непременно дошло бы до решительного объяснения, если б не случилось, наконец, происшествия, после которого всякие объяснения были бесполезны.

А именно, в одно утро Аким с женой только что собирались пополдничать (проезжих в постоялом дворе, за летними работами, ни одного не было), как вдруг тележка бойко застучала по до-

роге и круто остановилась перед крыльцом. Аким глянул в окошко, нахмурился и потупился: из тележки, не торопясь, вылезал Наум. Авдотья его не увидала, но когда раздался в сенях его голос, ложка слабо дрогнула в ее руке. Он приказывал работнику лошадь поставить на двор. Наконец дверь распахнулась, и он вошел в комнату.

— Здорово, — промолвил он и снял шапку.

— Здорово, — повторил сквозь зубы Аким. — Откуда бог принес?

— По соседству, — возразил тот и сел на лавку. — Я от барыни.

— От барыни, — проговорил Аким, все не поднимаясь с места. — По делам, что ль?

— Да, по делам. Авдотья Арефьевна, наше вам почтение.

— Здравствуйте, Наум Иваныч, — ответила она.

Все помолчали.

— Что это у вас, похлебка, знать, какая, — начал Наум…

— Да, похлебка, — возразил Аким и вдруг побледнел, — да не про тебя.

Наум с удивлением глянул на Акима.

— Как не про меня?

— Да так вот что не про тебя. — У Акима глаза

заблестели, и он ударил рукой по столу. — У меня в доме ничего про тебя нету, слышишь?

— Что ты, Семеныч, что ты? Что с тобой?

— Со мной-то ничего, а *ты* мне надоел, Наум Иваныч, вот что. — Старик встал и весь затрясся. — Больно часто стал ко мне таскаться, вот что.

Наум тоже встал.

— Да ты, брат, чай, рехнулся, — произнес он с усмешкой. — Авдотья Арефьевна, что это с ним?

— Я тебе говорю, — закричал дребезжащим голосом Аким, — пошел вон, слышишь… какая тебе тут Авдотья Арефьевна… я тебе говорю, слышишь, проваливай!

— Что ты такое мне говоришь? — спросил значительно Наум.

— Пошел вон отсюда; вот что я тебе говорю. Вот бог, а вот порог… понимаешь? а то худо будет!

Наум шагнул вперед.

— Батюшки, не деритесь, голубчики мои, — залепетала Авдотья, которая до того мгновенья сидела неподвижно за столом.

Наум глянул на нее.

— Не беспокойтесь, Авдотья Арефьевна, зачем драться! Эк-ста, брат, — продолжал он, обращаясь к Акиму, — как ты раскричался. Право. Экой

прыткой! Слыханное ли дело, из чужого дома выгонять, — прибавил с медленной расстановкой Наум, — да еще хозяина.

— Как из чужого дома, — пробормотал Аким. — Какого хозяина?

— А хоть бы меня.

И Наум прищурился и оскалил свои белые зубы.

— Как тебя? Разве не я хозяин?

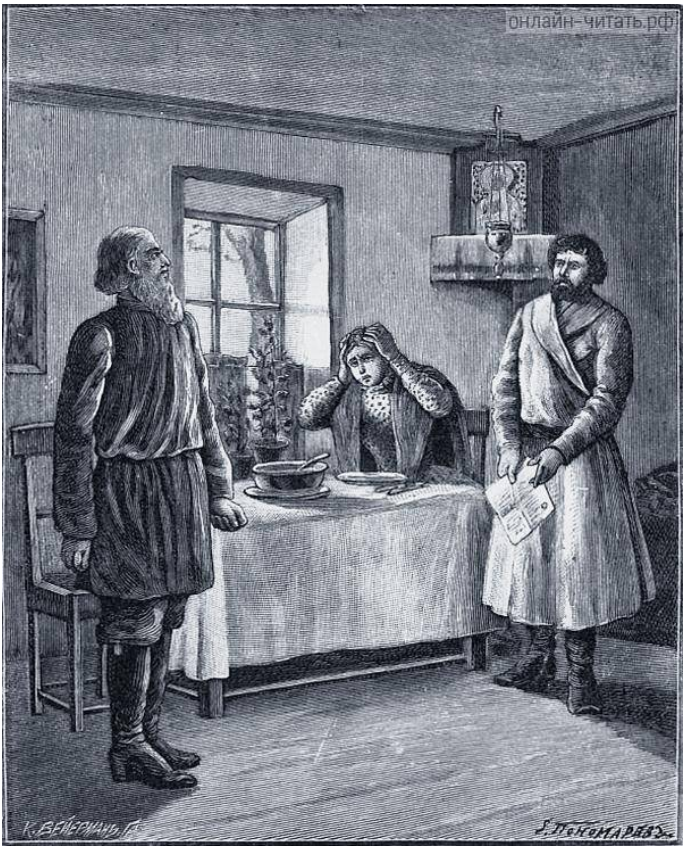
— Экой ты бестолковый, братец. Говорят тебе — я хозяин.

Аким вытаращил глаза.

— Что ты такое врешь, словно белены объелся, — заговорил он наконец. — Какой ты тут, к черту, хозяин?

— Да что с тобой толковать, — вскрикнул с нетерпением Наум. — Видишь ты эту бумагу, — продолжал он, выхватив из кармана сложенный вчетверо гербовый лист, — видишь? Это купчая, понимаешь, купчая и на землю твою и на двор; я их купил у помещицы, у Лизаветы Прохоровны купил; вчера купчую в Б…е совершили — хозяин здесь, стало быть, я, а не ты. Сегодня же собери свои пожитки, — прибавил он, кладя обратно бумагу в карман, — а завтра чтоб и духу твоего здесь не было, слышишь?

онлайн-читать.рф



Аким стоял, как громом пришибленный.

— Разбойник, — простонал он наконец, — разбойник… Эй, Федька, Митька, жена, жена, хватайте его, хватайте — держите его!

Он совсем потерялся.

— Смотри, смотри, — с угрозой произнес Наум, — смотри, старик, не дури…

— Да бей же его, бей его, жена! — твердил слезливым голосом Аким, напрасно и бессильно порываясь с места. — Душегубец, разбойник… Мало тебе ее… и дом ты мой у меня отнять хочешь и все… Да нет, стой же… этого быть не может… Я пойду сам, я сам скажу… Как… за что же продавать… Постой… постой…

И он без шапки бросился на улицу.

— Куда, Аким Семеныч, куда бежишь, батюшка? — заговорила работница Фетинья, столкнувшись с ним в дверях.

— К барыне! пусти! К барыне… — завопил Аким и, увидав Наумову телегу, которую не успели еще ввезти на двор, вскочил в нее, схватил вожжи и, ударив изо всей силы по лошади, пустился вскачь к господскому двору.

«Матушка, Лизавета Прохоровна, — твердил он про себя в продолжение всей дороги, — за что же такая немилость? Кажется, усердствовал!»

И между тем он все сек да сек лошадь. Встречавшиеся с ним сторонились и долго смотрели ему вслед.

В четверть часа доехал Аким до усадьбы Лизаветы Прохоровны; подскакал к крыльцу, соскочил с телеги и прямо ввалился в переднюю.

— Чего тебе? — пробормотал испуганный лакей, сладко дремавший на конике.

— Барыню, мне нужно барыню видеть, — громко проговорил Аким.

Лакей изумился.

— Аль что случилось? — начал он…

— Ничего не случилось, а мне барыню нужно видеть.

— Что, что? — промолвил более и более изумленный лакей и медленно выпрямился.

Аким опомнился… Словно холодной водой его облили.

— Доложите, Петр Евграфыч, барыне, — сказал он с низким поклоном, — что Аким, мол, желает их видеть…

— Хорошо… пойду… доложу… А ты, знать, пьян, подожди, — проворчал лакей и удалился.

Аким потупился и как будто смутился… Решимость быстро исчезла в нем с самого того мгновенья, как только он вступил в прихожую.

Лизавета Прохоровна тоже смутилась, когда доложили ей о приходе Акима. Она тотчас велела позвать Кирилловну к себе в кабинет.

— Я не могу его принять, — торопливо заговорила она, лишь только та показалась, — никак не могу. Что я ему скажу? Я ведь говорила тебе, что он непременно придет и будет жаловаться, — прибавила она с досадой и волнением, — я говорила…

— Для чего же вам его принимать-с, — спокойно возразила Кирилловна, — это и не нужно-с. Зачем вы будете беспокоиться, помилуйте.

— Да как же быть?

— Если позволите, я с ним поговорю.

Лизавета Прохоровна подняла голову.

— Сделай одолжение, Кирилловна. Поговори с ним. Ты скажи ему… там — ну, что я нашла нужным… а впрочем, что я его вознагражу… ну, там, ты уж знаешь. Пожалуйста, Кирилловна.

— Не извольте, сударыня, беспокоиться, — возразила Кирилловна и ушла, поскрипывая башмаками.

Четверти часа не протекло, как скрип их послышался снова, и Кирилловна вошла в кабинет с тем же спокойным выражением на лице, с той же лукавой смышленостью в глазах.

— Ну, что, — спросила ее барыня, — что Аким?

— Ничего-с. Говорит-с, что все в воле милости вашей, были бы вы здоровы и благополучны, а с его век станет.

— И он не жаловался?

— Никак нет-с. Чего ему жаловаться?

— Зачем же он приходил? — промолвила Лизавета Прохоровна не без некоторого недоумения.

— А приходил он просить-с пока до награжденья, не будет ли милости вашей оброк ему простить, на предбудущий год то есть…

— Разумеется, простить, простить, — с живостью подхватила Лизавета Прохоровна, — разумеется. С удовольствием. И вообще, скажи ему, что я его вознагражу. Ну, спасибо тебе, Кирилловна. А он, я вижу, добрый мужик. Постой, — прибавила она, — дай ему вот это от меня. — И она достала из рабочего столика трехрублевую ассигнацию. — Вот, возьми, отдай ему.

— Слушаю-с, — возразила Кирилловна и, спокойно возвратившись в свою комнату, спокойно заперла ассигнацию в кованый сундучок, стоявший у ее изголовья; она сохраняла в нем все свои наличные денежки, а их было немало.

Кирилловна донесением своим успокоила госпожу, но разговор между ею и Акимом проис-

ходил в действительности не совсем так, как она его передала; а именно: она велела его позвать к себе в девичью. Он сперва было не пошел к ней, объявив притом, что желает видеть не Кирилловну, а самое Лизавету Прохоровну, однако наконец послушался и отправился через заднее крыльцо к Кирилловне. Он застал ее одну. Войдя в комнату, он тотчас же остановился и прислонился подле двери к стене, хотел было заговорить… и не мог.

Кирилловна пристально посмотрела на него.

— Вы, Аким Семеныч, — начала она, — желаете барыню видеть?

Он только головой кивнул.

— Этого нельзя, Аким Семеныч. Да и к чему? Сделанного не переделаешь, а только вы их обеспокоите. Они вас теперь не могут принять, Аким Семеныч.

— Не могут, — повторил он и помолчал. — Так как же, — проговорил он медленно, — стало быть, так дому и пропадать?

— Послушайте, Аким Семеныч. Вы, я знаю, всегда были благоразумный человек. На это господская воля. А переменить этого нельзя. Уж этого не переменишь. Что мы тут будем с вами рассуждать, ведь это ни к чему не поведет. Не правда ли?

Аким заложил руки за спину.

— А вы лучше подумайте, — продолжала Кирилловна, — не попросить ли вам госпожу, чтоб оброку вам поспустить, что ли…

— Стало быть, дому так и пропадать, — повторил Аким прежним голосом.

— Аким Семеныч, я же вам говорю: нельзя. Вы сами это знаете лучше меня.

— Да. По крайней мере за сколько он пошел, двор-то?

— Не знаю я этого, Аким Семеныч; не могу вам сказать… Да что вы так стоите, — прибавила она, — присядьте.

— Постоим-с и так. Наше дело мужицкое, благодарим покорно.

— Какой же вы мужик, Аким Семеныч? Вы тот же купец, вас и с дворовым сравнить нельзя, что вы это? Не убивайтесь понапрасну. Не хотите ли чаю?

— Нет, спасибо, не требуется. Так за вами домик остался, — прибавил он, отделяясь от стены. — Спасибо и на этом. Прощенья просим, сударушка.

И он обернулся и вышел вон. Кирилловна одернула свой фартук и отправилась к барыне.

— А знать, я и впрямь купцом стал, — сказал са-

мому себе Аким, остановившись в раздумье перед воротами. — Хорош купец! — Он махнул рукой и горько усмехнулся. — Что ж! Пойти домой!

И, совершенно забыв о Наумовой лошади, на которой приехал, поплелся он пешком по дороге к постоялому двору. Он еще не успел отойти первой версты, как вдруг услышал рядом с собой стук тележки.

— Аким, Аким Семеныч, — звал его кто-то.

Он поднял глаза и увидал знакомца своего, приходского дьячка Ефрема, прозванного Кротом, маленького, сгорбленного человечка с вострым носиком и слепыми глазками. Он сидел в дрянной тележонке, на клочке соломы, прислонясь грудью к облучку.

— Домой, что ль, идешь? — спросил он Акима.

Аким остановился.

— Домой.

— Хочешь, подвезу?

— А пожалуй, подвези.

Ефрем посторонился, и Аким взлез к нему в телегу. Ефрем, который был, казалось, навеселе, принялся стегать свою лошаденку концами веревочных вожжей; она побежала усталой рысью, беспрестанно вздергивая незанузданной мордой.

Они проехали с версту, не сказав друг другу ни

слова. Аким сидел, наклонив голову, а Ефрем так только бурчал что-то себе под нос, то понукая, то сдерживая лошадь.

— Куда ж это ты без шапки ходил, Семеныч? — внезапно спросил он Акима и, не дожидаясь ответа, продолжал вполголоса: — В заведеньице оставил, вот что. Питух ты; я тебя знаю и за то люблю, что питух; ты не бийца, не буян, не напрасливый, домостроитель ты, но питух, и такой питух — давно бы тебя пора под начало за это, ей-богу; потому это дело скверное… Ура! — закричал он вдруг во все горло: — ура! ура!

— Стойте, стойте, — раздался вблизи женский голос, — стойте!

Аким оглянулся. К телеге через поле бежала женщина, до того бледная и растрепанная, что он ее сперва не узнал.

— Стойте, стойте, — простонала она опять, задыхаясь и махая руками.

Аким вздрогнул: это была его жена.

Он ухватил вожжи.

— А зачем останавливаться, — забормотал Ефрем, — для бабы-то останавливаться? Ну-у!

Но Аким круто осадил лошадь.

В это мгновение Авдотья добежала до дороги и так и повалилась прямо лицом в пыль.

— Батюшка, Аким Семеныч, — завопила она, — ведь и меня он выгнал!

Аким посмотрел на нее и не пошевелился, только еще крепче натянул вожжи.

— Ура! — снова воскликнул Ефрем.

— Так выгнал он тебя? — проговорил Аким.

— Выгнал, батюшка, голубчик мой, — ответила, всхлипывая, Авдотья. — Выгнал, батюшка. Говорит, дом теперь мой, так ступай, мол, вон.

— Важно, вот оно как хорошо… важно! — заметил Ефрем.

— А ты, чай, оставаться собиралась? — горько промолвил Аким, продолжая сидеть на телеге.

— Какое оставаться! Да, батюшка, — подхватила Авдотья, которая приподнялась было на колени и снова ударилась оземь, — ведь ты не знаешь, ведь я… Убей меня, Аким Семеныч, убей меня тут же, на месте…

— За что тебя бить, Арефьевна! — уныло возразил Аким, — сама ты себя победила! чего уж тут?

— Да ведь ты что думаешь, Аким Семеныч… Ведь денежки… твои денежки… Ведь нет их, твоих денежек-то… Ведь я их, окаянная, из подполицы достала, все их тому-то, злодею-то, Науму отдала, окаянная… И зачем ты мне сказал, куда ты деньги прячешь, окаянная я… Ведь он на твои

денежки и дворик-то купил… злодей этакой…

Рыдания заглушали ее голос.

Аким схватился обеими руками за голову.

— Как! — закричал он наконец, — так и деньги все… и деньги, и двор, и ты это… А! из подполицы достала… достала… Да я убью тебя, змея подколодная…

И он соскочил с телеги…

— Семеныч, Семеныч, не бей, не дерись, — пролепетал Ефрем, у которого от такого неожиданного происшествия хмель начинал проходить.

— Нет, батюшка, убей меня, батюшка, убей меня, окаянную: бей, не слушай его, — кричала Авдотья, судорожно валяясь у Акимовых ног.

Он постоял, посмотрел на нее, отошел несколько шагов и присел на траву возле дороги.

Наступило небольшое молчание. Авдотья повернула голову в его сторону.

— Семеныч, а Семеныч, — заговорил Ефрем, приподнявшись в телеге, — полно тебе… Ведь уж того… беде-то не поможешь. Тьфу ты, какая оказия, — продолжал он словно про себя, — экая баба проклятая… Иди к нему, ты, — прибавил он, наклонившись через грядку к Авдотье, — вишь он ошалел.

Авдотья встала, приблизилась к Акиму и снова

упала ему в ноги.

— Батюшка, — начала она слабым голосом…

Аким поднялся и пошел обратно к телеге. Она ухватилась за полу его кафтана.

— Пошла прочь! — крикнул он свирепо и оттолкнул ее.

— Куда же ты? — спросил его Ефрем, увидав, что он опять к нему садится.

— А ты хотел меня ко двору подвезти, — промолвил Аким, — так довези меня уж до своего двора… Моего-то вишь не стало. Купили вишь его у меня.

— А ну, изволь, поедем ко мне. А ее-то как?

Аким ничего не отвечал.

— А меня-то, меня-то, — подхватила с плачем Авдотья, — меня-то на кого ты оставляешь… куда же я-то пойду?

— А к нему ступай, — возразил, не оборачиваясь, Аким, — к кому ты деньги мои отнесла… Пошел, Ефрем!

Ефрем ударил по лошади, телега покатилась, Авдотья заголосила…

Ефрем жил в версте от Акимова двора, в маленьком домике, на поповской слободке, расположенной около одинокой пятиглавой церкви, недавно выстроенной наследниками богатого

купца, в силу духовного завещания. Ефрем во всю дорогу ничего не говорил Акиму и только изредка потряхивал головой и произносил слова вроде: «ах ты!» да: «эх ты!». Аким сидел неподвижно, немного отворотясь от Ефрема. Наконец они приехали. Ефрем соскочил первый с телеги. Ему навстречу выбежала девочка лет шести, в низко подпоясанной рубашонке, и закричала:

— Тятя! тятя!

— А где твоя мать? — спросил ее Ефрем.

— Спит в закутке.

— Ну, пущай спит. Аким Семеныч, что же вы, пожалуйте в комнатку.

(Надо заметить, что Ефрем «тыкал» его только спьяна; Акиму и не такие лица говорили: вы.)

Аким вошел в дьячкову избу.

— Вот сюда, на лавочку, пожалуйте, — говорил Ефрем. — Подите вы, пострелята, — крикнул он на трех других ребятишек, которые вместе с двумя исхудалыми и запачканными пеплом кошками появились вдруг из разных углов комнаты. — Подите вон! Брысь! Вот сюда, Аким Семеныч, сюда, — продолжал он, усаживая гостя, — да не прикажете ли чего?

— Что я тебе скажу, Ефрем, — произнес наконец Аким, — нельзя ли вина?

Ефрем встрепенулся.

— Вина? Мигом. Дома-то его у меня нету, вина-то, а вот я сейчас сбегаю к отцу Федору. У него завсегда… Мигом сбегаю…

И он схватил свою ушастую шапку.

— Да побольше принеси, я заплачу, — крикнул ему вслед Аким. — На это денег-то у меня еще станет.

— Мигом! — повторил еще раз Ефрем, исчезая за дверью. Он действительно вернулся очень скоро с двумя штофами под мышкой, из которых один уже был раскупорен, поставил их на стол, достал два зеленых стаканчика, краюху хлеба и соли.

— Вот это люблю, — твердил он, садясь перед Акимом. — Чего горевать? — Он налил и ему и себе… и пустился болтать… Поступок Авдотьи его озадачил. — Удивительное, право, дело, — говорил он, — каким это образом произошло? Стало быть, он приворожил ее к себе… ась? Вот что значит жену-то как нужно строго соблюдать! В ежовых рукавицах держать ее следует. А все-таки вам домой заехать не худо; ведь там, чай, у вас добра много осталось. — И много еще подобных речей произнес Ефрем; он, когда пил, не любил молчать.

Через час вот что происходило в Ефремовом доме. Аким, который в течение всей попойки ни слова не отвечал на расспросы и замечания своего болтливого хозяина и только выпивал стакан за стаканом, спал на печи, весь красный, спал тяжелым и мучительным сном; ребятишки на него дивились, а Ефрем… Увы! Ефрем тоже спал, но только в очень тесном и холодном чулане, куда заперла его жена, женщина весьма мужественного и сильного телосложения. Он было отправился к ней, в закуту, и начал ей не то грозить, не то рассказывать что-то, но до того несообразно и непонятно выражался, что она тотчас же смекнула, в чем дело, взяла его за воротник и отвела куда следует. Впрочем, он спал в чулане очень хорошо и даже покойно. Привычка!

Кирилловна не совсем верно передала Лизавете Прохоровне разговор свой с Акимом… То же можно сказать и об Авдотье. Наум ее не выгнал, хотя она и сказала Акиму, что он ее выгнал; он не имел права ее выгонять… Он был обязан дать старым хозяевам время выбраться. Между им и Авдотьей происходили объяснения совсем другого рода.

Когда Аким с криком, что он поедет к барыне, выскочил на улицу, Авдотья обратилась к Науму, поглядела на него во все глаза и всплеснула

руками.

— Господи! — начала она. — Наум Иваныч, что это такое? Вы наш двор купили?

— А что-с? — возразил тот. — Купил-с.

Авдотья помолчала и вдруг всполохнулась.

— Так вам вот на что деньги нужны были?

— Точно так изволите говорить-с. Эге, да, кажется, ваш муженек на моей лошади поехал, — прибавил он, услышав стук колес. — Каков молодец!

— Да ведь это грабеж после этого, — возопила Авдотья, — ведь это наши деньги, мужнины деньги, и двор наш…

— Нет-с, Авдотья Арефьевна, — перебил ее Наум, — двор был не ваш-с, к чему это говорить; двор был на господской земле, так и он господский, а деньги точно ваши были; только вы были, можно сказать, так добры и мне их пожертвовали-с; и я вам остаюсь благодарным и даже, при случае, вам их отдам, коли уж такой случай выдет-с; а только мне голяком оставаться не приходится, сами извольте рассудить.

Наум сказал все это очень спокойно и даже с небольшой улыбкой.

— Батюшки мои! — закричала Авдотья, — да что же это такое? Что это? Да как я после этого мужу на глаза покажусь? Злодей ты, — прибавила

она, с ненавистью глядя на молодое, свежее лицо Наума, — ведь я душу свою для тебя загубила, ведь я для тебя воровкой стала, ведь ты нас по миру пустил, злодей ты этакой! Ведь мне после этого только и осталось, что осел себе на шею надеть, злодей, обманщик, погубитель ты мой…

И она зарыдала в три ручья…

— Не извольте беспокоиться, Авдотья Арефьевна, — промолвил Наум, — а скажу вам одно: своя рубашка к телу ближе; впрочем, на то и щука в море, Авдотья Арефьевна, чтобы карась не дремал.

— Куда же мы пойдем теперь, куда денемся? — с плачем лепетала Авдотья.

— А этого я не могу сказать-с.

— Да я зарежу тебя, злодей; зарежу, зарежу…

— Нет, этого вы не сделаете, Авдотья Арефьевна; к чему это говорить, а только, я вижу, мне теперь лучше отсюда уйти маленько, а то вы уж очень беспокоитесь… Прощенья просим-с; а завтра беспременно завернем… А работников своих уж вы позвольте мне прислать к вам сегодня, — прибавил он, между тем как Авдотья продолжала твердить сквозь слезы, что она и его, и себя зарежет.

— Да вот они, кстати, и идут, — заметил он, гля-

нув в окно. — А то, пожалуй, какая-нибудь беда, боже сохрани, приключится… Этак-то спокойнее будет. Вы уж, сделайте милость, пожиточки свои соберите сегодня-с, а они у вас покараулят и помогут вам, пожалуй. Просим прощения-с.

Он поклонился, вышел и подозвал к себе работников…

Авдотья упала на лавку, потом легла грудью на стол и начала ломать себе руки, потом вдруг вскочила и побежала вслед за мужем… Мы рассказали их свидание.

Когда Аким уехал от нее прочь вместе с Ефремом, оставив ее одну в поле, она сперва долго плакала, не сходя с места. Наплакавшись досыта, она отправилась к господской усадьбе. Горько было ей войти в дом, еще горше показаться в девичьей. Все девушки бросились к ней навстречу с участием и сожалением. При виде их Авдотья не могла удержать слез своих; они так и брызнули из ее опухших и покрасневших глаз. Вся обессиленная, села она на первый попавшийся стул. Побежали за Кирилловной. Кирилловна пришла, обошлась с ней весьма ласково, но до барыни ее не допустила так же, как не допустила Акима. Авдотья сама не очень настаивала на свиданье с Лизаветой Прохоровной; она пришла в господ-

ский дом единственно потому, что решительно не знала, куда голову приклонить.

Кирилловна велела подать самовар. Авдотья долго отказывалась пить чай, но уступила, наконец, просьбам и убеждениям всех девушек и за первой чашкой выпила еще четыре. Когда Кирилловна увидела, что ее гостья несколько успокоилась и только изредка вздрагивала и слабо всхлипывала, она спросила ее, куда они намерены переселиться и что хотят сделать с своими вещами. Авдотья от этого вопроса опять заплакала, стала уверять, что ей, кроме смерти, ничего уже не нужно; но Кирилловна, как женщина с головой, ее тотчас остановила и присоветовала, не теряя попусту времени, с сегодняшнего же дня приступить к перевозке вещей в бывшую Акимову избу на деревне, где жил его дядя, тот самый старик, который отговаривал его жениться; объявила, что с позволения барыни им дадут на подъем и в подмогу людей и лошадей: «А что до вас касается, моя душенька, — прибавила Кирилловна, сложив в кислую улыбочку свои кошачьи губы, — у нас всегда место для вас найдется, и нам очень будет приятно, если вы у нас погостите до тех пор, пока опять справитесь и обзаведетесь домком. Главное — унывать не

нужно. Господь дал, господь взял и опять даст; все в его воле. Лизавета Прохоровна, конечно, по своим соображениям должна была продать ваш двор, но она вас не забудет и вознаградит: так она приказала сказать Акиму Семенычу… Где он теперь?»

Авдотья отвечала, что он, встретившись с ней, очень ее обидел и уехал к дьячку Ефрему.

— К этому! — значительно возразила Кирилловна. — Ну, я понимаю, что ему теперь трудно, пожалуй, его сегодня не отыщешь. Как быть? Нужно распорядиться. Малашка, — прибавила она, обращаясь к одной из горничных, — попроси-ка сюда Никанора Ильича: мы с ним потолкуем.

Никанор Ильич, человек наружности весьма мизерной, нечто вроде приказчика, тотчас явился, подобострастно выслушал все, что ему сказала Кирилловна, проговорил: «Будет исполнено», вышел и распорядился. Авдотье выдали три подводы с тремя крестьянами; к ним, по собственной охоте, присоединился четвертый, который сам объявил про себя, что он будет «потолковей их», и она отправилась вместе с ними на постоялый двор, где нашла своих прежних работников и работницу Фетинью в большом смущенье и ужасе…

Наумовы новобранцы, три очень дюжих парня, как пришли с утра, так уж никуда не уходили и караулили двор очень усердно, по обещанию Наума, до того усердно, что у одной новой телеги вдруг не оказалось шин…

Горько, горько было укладываться бедной Авдотье. Несмотря на помощь толкового человека, который, впрочем, только и умел что ходить с палочкой в руке, глядеть на других и сплевывать в сторону, она не успела выбраться в тот же день и осталась ночевать в постоялом дворе, упросив наперед Фетинью не выходить из ее комнаты; впрочем, она задремала только на заре лихорадочной дремотой, и слезы текли по ее щекам даже во сне.

Между тем Ефрем проснулся раньше обыкновенного в своем чулане и начал стучаться и проситься вон. Жена сперва не хотела выпустить его, объявив ему чрез дверь, что он еще не выспался; но он подстрекнул ее любопытство обещанием рассказать ей необыкновенное происшествие с Акимом; она вынула щеколду. Ефрем сообщил ей все, что знал, и кончил вопросом: что, мол, проснулся он или нет?

— А господь его знает, — отвечала жена, — поди посмотри сам; с печи еще не слезал. Вишь, вы оба

вчера как напились; поглядел бы хоть ты на себя — лицо на лицо не похоже, так, чумичка какая-то, а что в волосах сена набилось.

— Ничего, что набилось, — возразил Ефрем и, проведя рукой по голове, вошел в комнату. Аким уже не спал; он сидел со свешенными ногами на печи; очень странно и взъерошенно было также его лицо. Оно казалось тем более измятым, что Аким не имел привычки много пить.

— Ну, что, Аким Семеныч, как выспались, — начал Ефрем…

Аким посмотрел на него мутным взором.

— Что, брат Ефрем, — заговорил он сипло, — нельзя ли опять — того?

Ефрем быстро взглянул на Акима… Он почувствовал в это мгновение некоторое внутреннее содрогание; подобного рода ощущение испытывает стоящий под опушкою охотник при внезапном тявкании гончей в лесу, из которого уже, казалось, весь зверь выбежал.

— Как — еще? — спросил он наконец.

— Да; еще.

«Жена увидит, — подумал Ефрем, — не пустит, пожалуй».

— Ничего, можно, — промолвил он громко, — потерпите. — Он вышел и, благодаря искусно

принятым мерам, успел незаметным образом пронести под полой большую бутылку…

Аким взял эту бутылку… Но Ефрем не стал пить с ним вместе, по-вчерашнему, — он боялся жены и, объявив Акиму, что поедет посмотреть, что такое у него делается и как укладывают его пожитки, и не грабят ли его, — тотчас отправился к постоялому двору на своей некормленой лошадке верхом — причем, однако, себя не забыл, если принять в соображение его оттопырившуюся пазуху.

Аким скоро после его ухода уже спал опять как убитый на печи… Он даже тогда не проснулся, по крайней мере не подал вида, что проснулся, когда вернувшийся часа через четыре Ефрем начал его толкать, и будить, и лепетать над ним какие-то чрезвычайно сбивчивые слова о том, что уже все поехало и переехало, и образа, мол, сняты, уже и поехали, и все уже кончено — и что его все ищут, но что он, Ефрем, распорядился и запретил… и т. д. Впрочем, лепетал он недолго. Жена его опять отвела в чулан, а сама, в большом негодовании и на мужа своего, и на гостя, по милости которого муж «запил», легла в комнате на полатях… Но когда, проснувшись, по обычаю своему, ранехонько, глянула она на печь, уже

Акима на ней не было… Еще вторые петухи не пропели и ночь еще стояла такая темная, что само небо чуть-чуть серело прямо над головой, а по краям совершенно утопало во мраке — как уже Аким выходил из ворот дьячковского дома. Лицо его было бледно, но он зорко глядел кругом и походка его не изобличала пьяного… Он шел в направлении прежнего своего жилища — постоялого двора, уже поступившего окончательно во владение нового хозяина, Наума.

Наум тоже не спал в то время, когда Аким покидал украдкой дом Ефрема. Он не спал; подостлав под себя тулупчик, лежал он одетый, на лавке. Не совесть его мучила — нет! Он с удивительным хладнокровием присутствовал с утра при укладке и перевозке всего Акимова скарба и не раз сам заговаривал с Авдотьей, которая до того упала духом, что даже не упрекала его… Совесть его была покойна, но его занимали разные предположения и расчеты. Он не знал, посчастливится ли ему на новом поприще: до тех пор он никогда еще не содержал постоялого двора, — да и вообще не имел своего угла; ему и не спалось. «Хорошо начато дельце, — думал он, — что дальше будет…» Отправивши перед вечером последнюю телегу с Акимовым добром (Авдотья с плачем

пошла за нею), он осмотрел весь двор, все закуты, погреба, сараи, лазил на чердак, неоднократно приказывал своим работникам караулить крепко-накрепко и, оставшись один после ужина, все не мог заснуть. Так случилось, что в тот день ни один из проезжих не остался ночевать; это его очень обрадовало. «Собаку нужно завтра купить непременно, какую-нибудь позлей, у мельника; вишь они свою увели», — говорил он самому себе, ворочаясь с боку на бок, и вдруг проворно поднял голову… Ему показалось, что кто-то прошел под окном… Он прислушался… Ничего. Только кузнечик по временам осторожно трещал за печкой, да мышь где-то скреблась, да слышалось его собственное дыхание. Все было тихо в пустой комнате, тускло освещенной желтыми лучами маленькой стеклянной лампадки, которую он успел повесить и зажечь перед образком в углу… Он опустил голову; вот ему опять послышалось, как будто скрипнули ворота… потом слегка затрещал плетень… Он не выдержал, вскочил, отворил дверь в другую комнату и вполголоса кликнул: «Федор, а Федор!» Никто не отозвался ему… Он вышел в сени и чуть не упал, споткнувшись на Федора, развалившегося на полу. Мыча сквозь сон, зашевелился работник; Наум растолкал его.

— Что там, что надо? — начал было Федор…

— Чего орешь, молчи, — произнес шепотом Наум. — Эка спите, проклятые! Ничего не слыхал?

— Ничего, — отвечал тот. — А что?

— А где другие спят?

— Другие спят, где приказано… Да разве что…

— Молчи — ступай за мной.

Наум тихонько отпер дверь из сеней на двор… На дворе было очень темно… Навесы с их столбами только потому и можно было различить, что они еще гуще чернели среди черной мглы…

— Не засветить ли фонарик? — проговорил вполголоса Федор.

Но Наум махнул рукой и притаил дыхание… Сперва он ничего не услыхал, кроме тех ночных звуков, которые почти всегда услышишь в обитаемом месте: лошадь жевала овес, свинья слабо хрюкнула раз сквозь сон, где-то похрапывал человек; но вдруг дошел до его ушей какой-то подозрительный шум, поднявшийся на самом конце двора, подле забора…

Казалось, кто-то там ворочался и как будто дышал или дул… Наум глянул через плечо на Федора и, осторожно сойдя с крылечка, пошел на шум… Раза два останавливался он, прислушивался и продолжал снова красться… Вдруг

он вздрогнул… В десяти шагах от него, в густой темноте ярко зарделась огненная точка: то был раскаленный уголь, и возле самого угля показалась на миг передняя часть чьего-то лица с вытянутыми губами… Быстро и молча, как кошка на мышь, ринулся Наум на огонь… Торопливо поднявшись с земли, бросилось ему навстречу какое-то длинное тело и чуть не сбило его с ног, чуть не выскользнуло из его рук, но он вцепился в него изо всех сил… «Федор, Андрей, Петрушка! — закричал он что было мочи, — скорей сюда, сюда, вора поймал, зажигателя…» Человек, которого он схватил, сильно барахтался и бился… но не выпускал его Наум… Федор тотчас подскочил к нему на подмогу.

— Фонарь, скорей фонарь! Беги за фонарем, буди других, скорей! — крикнул ему Наум, — а я с ним пока один справлюсь — я сижу на нем… Скорей! да захвати кушак связать его.

Федор побежал в избу… Человек, которого держал Наум, вдруг перестал биться…

— Так, видно, тебе мало и жены, и денег, и двора — меня тоже погубить хочешь, — заговорил он глухо…

Наум узнал Акимов голос.

— Так это ты, голубчик, — промолвил он, — хо-

рошо же, погоди!

— Пусти, — проговорил Аким. — Али тебе не довольно?

— А вот я тебе завтра перед судом покажу, как мне довольно… — И Наум еще плотнее обнял Акима.

Прибежали работники с двумя фонарями и веревками… «Вяжите его!» — резко скомандовал Наум… Работники ухватили Акима, подняли его, скрутили ему руки назад… Один из них начал было ругаться, но, узнавши старого хозяина постоялого двора, замолчал и только переглянулся с другими.

— Вишь, вишь, — твердил в это время Наум, поводя фонарем над землей, — вот и уголь в горшке — смотрите-ка, в горшке целую головешку притащил, надо будет узнать, где он горшок этот взял… вот он и сучьев наломал… — И Наум тщательно затоптал огонь ногой. — Обыщи-ка его, Федор! — прибавил он, — нет ли у него там еще чего?

Федор обшарил и ощупал Акима, который стоял неподвижно и повесил, как мертвый, голову на грудь.

— Есть вот нож, — проговорил Федор, доставая из-за Акимовой пазухи старый кухонный нож.

— Эге, любезный, так ты вот куда метил, — вос-

кликнул Наум. — Ребята, вы свидетели… вот он зарезать меня хотел, двор поджечь… Заприте-ка его до утра в подвале, оттуда он не выскочит… Караулить я сам всю ночь буду, а завтра, чуть свет, мы его к исправнику… А вы свидетели, слышите?

Акима втолкнули в подвал, захлопнули за ним дверь… Наум приставил к ней двух работников и сам не лег спать.

Между тем Ефремова жена, убедившись, что ее непрошеный гость удалился, — принялась было за стряпню, хотя на дворе еще чуть брезжило… В тот день был праздник. Она присела к печке — достать огоньку, и увидала, что кто-то уже прежде выгребал оттуда жар; хватилась потом ножа — не нашла ножа; наконец, из четырех своих горшков не досчиталась одного. Ефремова жена слыла бабой не глупой — и недаром. Она постояла в раздумье, постояла и пошла в чулан к мужу. Нелегко было добудиться его и еще труднее растолковать ему, зачем его будили… На все, что ни говорила дьячиха, Ефрем отвечал все одно и то же:

— Ушел — ну, бог с ним… я-то что? Унес нож и горшок — ну, бог с ним — а я-то что?

Однако наконец он встал и, внимательно выслушав жену, решил, что дело это нехорошее и

что этого так оставить нельзя.

— Да, — твердила дьячиха, — это нехорошо; этак он, пожалуй, бед наделает, с отчаянья-то… Я уже вечор видела, что он не спал, так лежал на печи; тебе бы, Ефрем Александрыч, не худо бы проведать, что ли…

— Я вам, Ульяна Федоровна, что доложу, — начал Ефрем, — я на постоялый двор теперича поеду сам; и вы уж будьте ласковы, матушка, дайте мне опохмелиться винца стаканчик.

Ульяна призадумалась.

— Ну, — решила она наконец, — дам я тебе вина, Ефрем Александрыч; только ты, смотри, не балуй.

— Будьте спокойны, Ульяна Федоровна.

И, подкрепив себя стаканчиком, Ефрем отправился на постоялый двор.

Еще только рассветало, когда он подъехал к двору, а уже у ворот стояла запряженная телега и один из работников Наума сидел на облучке, держа в руках вожжи.

— Куда это? — спросил его Ефрем.

— В город, — нехотя отвечал работник.

— Зачем это?

Работник только передернул плечами и не отвечал. Ефрем соскочил с своей лошадки и вошел

в дом. В сенях ему попался Наум, совсем одетый и в шапке.

— Поздравляем с новосельем нового хозяина, — проговорил Ефрем, который знал его лично. — Куда так рано?

— Да, есть с чем поздравлять, — сурово возразил Наум. — В первый же день, да чуть не сгорел.

Ефрем дрогнул.

— Как так?

— Да так, нашелся добрый человек, поджечь хотел. Благо, на деле поймал; теперь в город везу.

— Уж не Аким ли?.. — медленно спросил Ефрем.

— А ты почем знаешь? Аким. Пришел ночью с головешкой в горшке — и уж на двор пробрался и огонь подложил… Все мои ребята свидетели. Хочешь посмотреть? Нам же его, кстати, пора везти.

— Батюшка, Наум Иваныч, — заговорил Ефрем, — отпустите его, не погубите вы старика до конца. Не берите этого греха на душу, Наум Иваныч. Вы подумайте — человек в отчаянии — потерялся, значит…

— Полно врать, — перебил его Наум. — Как же! Выпущу я его! Да он завтра же меня подожжет опять…

— Не подожжет, Наум Иваныч, поверьте. Поверьте, вам самим этак будет покойнее — ведь тут расспросы пойдут, суд — ведь вы сами знаете.

— Так что ж, что суд? Мне суда бояться нечего.

— Батюшка, Наум Иваныч, как суда не бояться…

— Э, полно; ты, я вижу, пьян с утра, а еще сегодня праздник.

Ефрем вдруг совершенно неожиданно заплакал.

— Я пьян, да правду говорю, — пробормотал он. — А вы для праздничка Христова его простите.

— Ну, пойдем, нюня.

И Наум пошел к крыльцу.

— Для Авдотьи Арефьевны его простите, — говорил Ефрем, следуя за ним.

Наум подошел к подвалу, широко отворил дверь. Ефрем с боязливым любопытством вытянул шею из-за Наумовой спины и с трудом различил в углу неглубокого подвала Акима. Бывший богатый дворник, уважаемый в околотке человек, сидел с связанными руками на соломе, как преступник… Услышав шум, он поднял голову… Казалось, он страшно исхудал за эти последние два дня, особенно за эту ночь, — впалые

глаза едва виднелись под высоким, как воск пожелтевшим лбом, пересохшие губы потемнели… Все лицо его изменилось и приняло странное выражение: жестокое и запуганное.

— Вставай и выходи, — проговорил Наум.

Аким встал и шагнул через порог.

— Аким Семеныч, — завопил Ефрем, — погубил ты свою головушку, голубчик!..

Аким глянул на него молча.

— Знал бы я, для чего ты вина спрашивал, — не дал бы я тебе; право, не дал бы; кажется, сам бы все выпил! Эх, Наум Иваныч, — прибавил Ефрем, ухватив Наума за руку, — помилуйте его, отпустите.

— Эка штука, — с усмешкой возразил Наум. — Ну, выходи же, — прибавил он, снова обратившись к Акиму… — Чего ждешь?

— Наум Иванов… — начал Аким.

— Чего?

— Наум Иванов, — повторил Аким, — послушай: я виноват; сам с тебя расправы захотел; а нас с тобой бог рассудить должен. Ты у меня все отнял, сам знаешь, все до последнего. Теперь ты меня погубить можешь, а только я тебе вот что скажу: коли ты меня отпустишь теперь — ну! так и быть! владей всем! я согласен и желаю тебе

всякой удачи. А я тебе как перед богом говорю: отпустишь — пенять не будешь. Бог с тобой!

Аким закрыл глаза и умолк.

— Как же, как же, — возразил Наум, — можно тебе поверить!

— А ей-богу, можно, — заговорил Ефрем, — право, можно. Я за него, за Акима Семеныча, головой готов поручиться — ну, право!

— Вздор! — воскликнул Наум. — Едем!

Аким посмотрел на него.

— Как знаешь, Наум Иванов. Твоя воля. Много ты только на душу себе берешь. Что ж, коли тебе таки уж не терпится — едем…

Наум в свою очередь зорко поглядел на Акима. «А в самом деле, — подумал он про себя, — отпустить его к черту! А то меня этак, пожалуй, люди поедом поедят. От Авдотьи проходу не будет…» Пока Наум рассуждал сам с собою — никто не произнес ни слова. Работник на телеге, которому сквозь ворота все было видно, только потряхивал головой и похлопывал по лошади вожжами. Другие два работника стояли на крылечке и тоже молчали.

— Ну, слушай, старик, — начал Наум, — когда я тебя отпущу и вот этим молодцам (он указал головой на работников) не велю болтать, что же,

мы с тобой квиты будем — понимаешь меня, — квиты… ась?

— Говорят тебе, владей всем.

— Ты меня в долгу считать у себя не будешь?

— Ни ты у меня в долгу не будешь, ни я у тебя.

Наум опять помолчал.

— А побожись!

— Вот как бог свят, — возразил Аким.

— Ведь вот я знаю наперед, что раскаиваться буду, — промолвил Наум, — да уж так, куда ни шло! Давай сюда руки.

Аким повернулся к нему спиной; Наум начал его развязывать.

— Смотри же, старик, — прибавил он, стаскивая с его кистей веревку, — помни, я тебя пощадил, смотри!

— Голубчик вы мой, Наум Иваныч, — пролепетал тронутый Ефрем, — господь вас помилует!

Аким выправил опухшие и похолоделые руки и пошел было к воротам…

Наум вдруг, как говорится, ожидовел — знать, ему жаль стало, что выпустил Акима…

— Ты побожился, смотри, — крикнул он ему вслед.

Аким оборотился — и, обведя глазами кругом двора, промолвил печально:

— Владей всем, навеки нерушимо… прощай.

И он тихо вышел на улицу в сопровождении Ефрема. Наум махнул рукой, велел отпрячь телегу и вернулся в дом.

— Куда же ты, Аким Семеныч, разве не ко мне? — воскликнул Ефрем, увидав, что Аким своротил с большой дороги направо.

— Нет, Ефремушка, спасибо, — ответил Аким. — Пойду посмотреть, что жена делает.

— После посмотришь… А теперь надо бы на радости — того…

— Нет, спасибо, Ефрем… Довольно и так. Прощай. — И Аким пошел не оглядываясь.

— Эка! Довольно и так! — произнес озадаченный дьячок, — а я еще за него божился! Вот уж не ожидал я этого, — прибавил он с досадой, — после того как я за него божился. Тьфу!

Он вспомнил, что забыл взять нож свой и горшок, и вернулся на постоялый двор… Наум велел выдать ему его вещи, но даже не подумал угостить его. Совершенно раздосадованный и совершенно трезвый, явился он к себе домой.

— Ну что, — спросила его жена, — нашел?

— Что нашел? — возразил Ефрем, — вестимо, нашел: вот твоя посуда.

— Аким? — с особенным ударением спросила

жена.

Ефрем кивнул головой.

— Аким. Но каков же он гусь! Я же за него божился, без меня бы ему в остроге пропадать, а он хоть бы чарочку мне поднес. Ульяна Федоровна, уважьте хоть вы меня, дайте стаканчик.

Но Ульяна Федоровна не уважила его и прогнала его с глаз долой.

Между тем Аким шел тихими шагами по дороге к деревне Лизаветы Прохоровны. Он еще не мог хорошенько опомниться; вся внутренность в нем дрожала, как у человека, который только что избежал явной смерти. Он словно не верил своей свободе. С тупым изумлением глядел он на поля, на небо, на жаворонков, трепетавших в теплом воздухе. Накануне, у Ефрема, он с самого обеда не спал, хоть и лежал неподвижно на печи; сперва он хотел вином заглушить в себе нестерпимую боль обиды, тоску досады, бешеной и бессильной… но вино не могло одолеть его до конца; сердце в нем расходилось, и он начал придумывать, как бы отплатить своему злодею… Он думал об одном Науме; Лизавета Прохоровна не приходила ему в голову, от Авдотьи он мысленно отворачивался. К вечеру жажда мести разгорелась в нем до исступления, и он, добродушный и

слабый человек, с лихорадочным нетерпением дождался ночи и, как волк на добычу, с огнем в руках побежал истреблять свой бывший дом… Но вот его схватили… заперли… Настала ночь. Чего он не передумал в эту жестокую ночь! Трудно передать словами все, что происходит в человеке в подобные мгновения, все терзанья, которые он испытывает; оно тем более трудно, что эти терзанья и в самом-то человеке бессловесны и немы… К утру, перед приходом Наума с Ефремом, Акиму стало как будто легко… «Все пропало! — подумал он, — все на ветер пошло!» и махнул рукой на все… Если б он был рожден с душой недоброй, в это мгновение он мог бы сделаться злодеем; но зло не было свойственным Акиму. Под ударом неожиданного и незаслуженного несчастья, в чаду отчаянья решился он на преступное дело; оно потрясло его до основания и, не удавшись, оставило в нем одну глубокую усталость… Чувствуя свою вину, оторвался он сердцем от всего житейского и начал горько, но усердно молиться. Сперва молился шепотом, наконец он, может быть, случайно, громко произнес: «Господи!» — и слезы брызнули из его глаз… Долго плакал он и утих, наконец… Мысли его, вероятно бы, изменились, если б ему пришлось поплатиться

за свою вчерашнюю попытку… Но вот он вдруг получил свободу… и он шел на свидание с женою полуживой, весь разбитый, но спокойный.

Дом Лизаветы Прохоровны стоял в полутора верстах от ее деревни, налево от проселка, по которому шел Аким. У поворота, ведущего к господской усадьбе, он остановился было… и прошел мимо. Он решился сперва зайти в свою бывшую избу к старику дяде.

Небольшая и довольно уже ветхая Акимова изба находилась почти на самом конце деревни; Аким прошел всю улицу, не встретив ни души. Весь народ был у обедни. Только одна больная старуха подняла окошечко, чтоб посмотреть ему вслед, да девочка, выбежавшая с пустым ведром к колодцу, зазевалась на него и тоже проводила его глазами. Первый человек, ему попавшийся навстречу, был именно тот дядя, которого он искал. Старик с самого утра просидел на завалинке под окошком, понюхивая табачок и греясь на солнце; ему не совсем здоровилось, оттого он и в церковь не ходил; он только что собрался было навестить другого, тоже хворого старика-соседа, как вдруг увидал Акима… Он остановился, допустил его до себя и, заглянув ему в лицо, промолвил:

— Здорово, Акимушка!

— Здорово, — отвечал Аким и, минуя старика, вошел в ворота своей избы… На дворе стояли его лошади, корова, телега; тут же ходили его куры… Он молча вошел в избу. Старик последовал за ним. Аким присел на лавку и оперся в нее кулаками. Старик жалостливо посматривал на него, стоя у дверей.

— А где хозяйка? — спросил Аким.

— А в барском доме, — проворно возразил старик. — Она там. Здесь твою скотинку поставили, да сундуки, какие были, а она там. Аль сходить за ней?

Аким помолчал.

— Сходи, — проговорил он наконец. — Эх, дядя, дядя, — промолвил он со вздохом, пока тот доставал с гвоздя шапку, — помнишь, ты мне что накануне свадьбы сказал?

— На все воля божия, Акимушка.

— Помнишь, ты мне сказал, что, дескать, я вам, мужикам, не свой брат, а теперь вот какие времена подошли… Сам гол как сокол стал.

— Про дурных людей не напасешься, — отвечал старик, — а его, бессовестного, кабы кто мог проучить хорошенько, барин, например, какой или другая власть, а то чего ему бояться? Волк, так волчью хватку и знает. — И старик надел шапку

и отправился.

Авдотья только что возвратилась из церкви, когда ей сказали, что мужнин дядя ее спрашивает. До того времени она очень редко его видала; он к ним на постоялый двор не хаживал и вообще слыл за чудака: до страсти любил табак и все больше помалкивал.

Она вышла к нему.

— Чего тебе, Петрович, аль что случилось?

— Ничего не случилось, Авдотья Арефьевна; муж тебя спрашивает.

— Разве он вернулся?

— Вернулся.

— Да где ж он?

— А на деревне, в избе сидит.

Авдотья оробела.

— Что, Петрович, — спросила она, глядя ему прямо в глаза, — серчает он?

— Не видать, чтобы серчал.

Авдотья потупилась.

— Ну, пойдем, — промолвила она, надела большой платок, и оба отправились. Молча шли они до самой деревни. Когда же стали они приближаться к избе, Авдотью страх разобрал такой, что коленки у ней задрожали.

— Батюшка, Петрович, — проговорила она, —

войди ты первый… Скажи ему, что я, мол, пришла.

Петрович вошел в избу и нашел Акима, сидящего в глубоком раздумье, на том же самом месте, на котором он его оставил.

— Что, — промолвил Аким, подняв голову, — али не пришла?

— Пришла, — возразил старик. — У ворот стоит…

— Ну, пошли ее сюда.

Старик вышел, махнул Авдотье рукой, сказал ей: «Ступай», а сам опять присел на завалинке. Авдотья с трепетом отперла дверь, переступила порог и остановилась.

Аким посмотрел на нее.

— Ну, Арефьевна, — начал он, — что мы теперь с тобою будем делать?

— Виновата, — прошептала она.

— Эх, Арефьевна, все мы грешные люди. Что тут толковать-то!

— Это он, злодей, погубил нас обоих, — заговорила Авдотья звенящим голосом, и слезы потекли по ее лицу. — Ты, Аким Семеныч, этого так не оставляй, получи с него деньги-то. Ты меня не жалей. Я под присягой готова показать, что деньги ему взаймы дала. Лизавета Прохоровна вольна

была двор наш продать, он-то за что нас грабит… Получи с него деньги.

— Мне с него не приходится получать деньги, — угрюмо возразил Аким. — Мы с ним рассчитались.

Авдотья изумилась:

— Как так?

— Да так. Знаешь ли ты, — продолжал Аким, и глаза его загорелись, — знаешь ли ты, где я провел ночь? Не знаешь? У Наума в подвале, по рукам, по ногам связанный, как баран, вот где я провел ночь. Я у него двор хотел поджечь, да он меня поймал, Наум-то; ловок он больно! А сегодня меня собирался в город везти, да уж так помиловал; стало быть, мне с него денег не приходится получать. Да и как я получу с него деньги… А когда, скажет он, я у тебя занимал деньги? Что ж мне, сказать: жена их у меня под полом отрыла, да и снесла тебе? Врет, он скажет, твоя жена. Али тебе, Арефьевна, огласки мало? Молчи уж лучше, говорят тебе, молчи.

— Виновата, Семеныч, виновата, — шепнула снова перепуганная Авдотья.

— Не в том дело, — возразил Аким, помолчав немного, — а что мы будем делать с тобой? Дома у нас теперь не стало… денег тоже…

— Как-нибудь перебьемся, Аким Семеныч; Лизавету Прохоровну попросим, она нам поможет, мне Кирилловна обещала.

— Нет, Арефьевна, уж ты сама ее проси с твоей Кирилловной сообща; вы ведь одного поля ягодки. Я вот что тебе скажу: ты здесь оставайся, с богом; я здесь не останусь. Благо, у нас детей нет, а я один авось не пропаду. Одна голова не бедна.

— Что же ты, Семеныч, аль опять в извоз пойдешь?

Аким горько засмеялся.

— Хорош я извозчик, неча сказать! Вот нашла молодца. Нет, Арефьевна, ведь это дело не то, что, примерно сказать, жениться; на это дело старик не годится. Я только здесь не хочу остаться, вот что; не хочу, чтобы на меня пальцами тыкали... понимаешь? Я пойду грехи свои отмаливать, Арефьевна, вот куда я пойду.

— Какие же твои грехи, Семеныч? — робко произнесла Авдотья.

— Уж про них, жена, я сам знаю.

— Да на кого же ты меня оставишь, Семеныч? Как я без мужа жить-то буду?

— На кого я тебя оставлю? Эх, Арефьевна, как ты это говоришь, право. Очень тебе нужен такой муж, как я, да еще старый, да еще разоренный.

Как же! Обходилась прежде, обойдешься и вперед. А добро, какое еще у нас осталось, возьми себе, ну его!..

— Как знаешь, Семеныч, — печально возразила Авдотья, — ты лучше это знаешь.

— То-то. Только ты не думай, чтоб я серчал на тебя, Арефьевна. Нет, чего серчать, когда уж того… Прежде надо было спохватиться. Сам я виноват — и наказан. (Аким вздохнул.) Люби кататься, люби и саночки возить. Лета мои старые, пора о душеньке своей подумать. Меня сам господь вразумил. Вишь я, старый дурак, с молодой женой хотел в свое удовольствие пожить… Нет, брат-старик, ты сперва помолись, да лбом оземь постучи, да потерпи, да попостись… А теперь ступай, мать моя. Устал я очень, сосну маленько.

И Аким протянулся, кряхтя, на лавке.

Авдотья хотела было что-то сказать, постояла, поглядела, отвернулась и ушла… Она не ожидала, что так дешево отделается.

— Что, не побил? — спросил ее Петрович, сидя, весь сгорбленный, на завалинке, когда она с ним поравнялась. Авдотья молча прошла мимо. — Вишь, не побил, — произнес про себя старик, усмехнулся, взъерошил бороду и понюхал табаку.

Аким исполнил свое намерение. Он устроил наскоро свои делишки и, несколько дней спустя после переданного нами разговора, зашел, одетый по-дорожному, проститься с своей женой, которая поселилась на время во флигельке господского дома. Прощание их продолжалось недолго… Тут же случившаяся Кирилловна присоветовала Акиму явиться к барыне; он явился к ней. Лизавета Прохоровна приняла его с некоторым смущением, но благосклонно допустила его к руке и спросила, куда он намерен идти? Он отвечал, что пойдет сперва в Киев, а оттуда куда бог даст. Она похвалила его и отпустила. С тех пор он очень редко показывался домой, хотя никогда не забывал принести барыне просвиру с вынутым заздравным… Зато везде, куда только стекаются богомольные русские люди, можно было увидеть его исхудавшее и постаревшее, но все еще благообразное и стройное лицо: и у раки св. Сергия, и у Белых берегов, и в Оптиной Пустыне, и на отдаленном Валааме; везде бывал он…

В нынешнем году он проходил мимо вас в рядах несметного народа, идущего крестным ходом за иконой богородицы в Коренную; на следующий год вы заставали его сидящим, с котомкой за плечами, вместе с другими странниками, на паперти

Николая-чудотворца во Мценске… В Москву он являлся почти каждую весну…

Из края в край скитался он своим тихим, неторопливым, но безостановочным шагом — говорят, он побывал в самом Иерусалиме… Он казался совершенно спокойным и счастливым, и много говорили о его набожности и смиренномудрии те люди, которым удавалось с ним беседовать.

А Наумово хозяйство шло между тем как нельзя лучше. Живо и толково принялся он за дело и, как говорится, круто пошел в гору. Все в околотке знали, какими средствами достал он себе постоялый двор, знали также, что Авдотья отдала ему мужнины деньги; никто не любил Наума за его холодный и резкий нрав… С укоризной рассказывали про него, будто он однажды самому Акиму, попросившему у него под окном милостыню, отвечал, что бог, мол, подаст, и ничего не вынес ему; но все соглашались, что счастливей его человека не было; хлеб у него родился лучше, чем у соседа; пчелы роились больше; куры даже чаще неслись, скот никогда не болел, лошади не хромали… Авдотья долго не могла слышать его имени (она приняла предложение Лизаветы Прохоровны и снова поступила к ней на службу в качестве главной швеи); но под конец ее

отвращение несколько уменьшилось; говорят, нужда заставила ее прибегнуть к нему, и он дал ей рублей сто… Не будем слишком строго судить ее: бедность хоть кого скрутит, а внезапный переворот в ее жизни очень ее состарил и смирил: трудно поверить, как скоро она подурнела, как опустилась и упала духом…

— Чем же все кончилось? — спросит читатель.

А вот чем. Наум, удачно хозяйничавши лет пятнадцать, выгодно сбыл свой двор другому мещанину… Он бы никогда не расстался с своим двором, если б не случилось следующего, по-видимому, незначительного обстоятельства: два утра сряду собака его, сидя под окнами, протяжно и жалобно выла; он во второй раз вышел на улицу, внимательно посмотрел на воющую собаку, покачал головой, отправился в город и в тот же день сошелся в цене с мещанином, который уже давно приторговывался к его двору… Через неделю он уехал куда-то далеко — из губернии вон; новый хозяин переселился на его место, и что же? В тот же самый вечер двор сгорел дотла, ни одна клеть не уцелела, и Наумов наследник остался нищим. Читатель легко себе представит, какие поднялись толки в соседстве по случаю этого пожара… Видно, он свою «задачу» с собой

унес, — твердили все… О нем ходят слухи, будто он занялся хлебной торговлей и разбогател сильно. Но надолго ли? Не такие столбы валились, и злому делу рано или поздно приходит злой конец. О Лизавете Прохоровне много сказать нечего: она жива до сих пор и, как это часто бывает с людьми такого рода, ни в чем не изменилась, даже не слишком постарела, только как будто суше стала; притом скупость в ней чрезвычайно усилилась, хотя трудно понять, для кого это она все бережет, не имея детей и не будучи ни к кому привязана. В разговоре она часто упоминает об Акиме и уверяет, что с тех пор, как узнала все его качества, она русского мужика очень стала уважать. Кирилловна от нее откупилась за порядочные деньги и вышла замуж, по любви, за какого-то молодого, белокурого официанта, от которого терпит муку горькую; Авдотья живет по-прежнему на женской половине у Лизаветы Прохоровны, но опустилась еще несколькими ступенями ниже, одевается очень бедно, почти грязно, и от столичных замашек модной горничной, от привычек зажиточной дворничихи не осталось уже в ней и следа… Ее никто не замечает, и она сама рада, что ее не замечают; старик Петрович умер, а Аким все еще странствует — и бог один знает, сколько

ему еще придется странствовать!



1852